



Г. АДАМОВИЧ

Вячеслав Иванов и Лев Шестов

Кто хоть раз видел Вячеслава Иванова, а в особенности тот, кому случалось бывать на литературных собраниях с его участием, едва ли когда-нибудь его забудет.

Все умолкали, все само собой стушевывалось, едва Вячеслав Иванов начинал говорить. Высокий, чуть-чуть сутуловатый, весь золотистый и розовый, в ореоле легких, будто светящихся золотых волос, в длинном старомодном сюртуке, он стоял, не то переминаясь с ноги на ногу, не то пританцовывая и припрыгивая, — и говорил, растягивая слова, улыбаясь неожиданно мелькнувшей новой мысли, останавливаясь, чтобы мысль эту додумать, с повисшей в воздухе рукой, и никому в голову не приходило, чтобы можно было его перебить или его не дослушать: среди обыкновенных людей стоял какой-то Орфей, всех покорявший. Был ли у него настоящий ораторский талант? Не знаю, может быть, и не было. Из русских писателей нашего века удивительный, даже в своем роде единственный ораторский дар был у Мережковского, причем обнаруживалось это не в заранее подготовленных его выступлениях, не на лекциях, больше частью вялых и схематичных, а под конец того или иного собрания, когда Мережковский, задетый возражениями, поднимался на эстраду, будто нехотя, сначала что-то бормотал, хмурился — мало-помалу оживляясь, взвивался к высотам импровизированного красноречия. Редким ораторским талантом был наделен Аким Волынский, о котором можно бы сказать словами Некрасова, что «говорил он лучше, чем писал». Волынский бесцеремонно насиловал грамматику и синтаксис, делал невозможные уда-

рения, обрывал фразы на полуслове, но оказывался неотразим, когда был «в ударе», и увлекал своим пламенным пафосом. У Вячеслава Иванова ни пафоса, ни огня не было. Он не увлекал, а скорее очаровывал, как вкрадчивый, мудрый, тихий волшебник, знающий, что тем, кто раз подпал под его влияние, от него не уйти. Для двух или трех поколений поэтов он был учителем, чуть ли не с большой буквы. Правда, «мэтром» долгое время считался и Брюсов, — но скорее в формальном смысле, чем в каком-либо другом, более глубоком: скудость брюсовского опыта и его литературных наставлений становилась мало-помалу ясна всякому, кто не был от природы слеп. Да и мираж брюсовского формального совершенства рассеивался при внимательном в него вглядывании. Позднее, — и в частности поэтами петербургскими, — «мэтром» был провозглашен Гумилев. Но даже и самые ревностные сторонники Брюсова и Гумилева чувствовали, что в сравнении с Вячеславом Ивановым и тот, и другой — сущие дети. Дело было не в истолковании поэзии, не в способности проанализировать новое стихотворение и дать его разбор, — хотя и в этой области у Вячеслава Иванова вряд ли нашлись бы соперники! — а в общем кругозоре, в подъеме и полете мысли, в понимании, что поэзии, в себе замкнутой, ничем, кроме себя не занятой, нет, что все со всем связано, и что поэт только тогда поэт, когда он это сознает и чувствует... Нередко о Вячеславе Иванове говорят, как о необыкновенном эрудите. Эрудит, эрудиция — не совсем те слова, которые для характеристики его нужны. Эрудитов на свете много, и нашлись бы, конечно, и среди наших современников люди, прочитавшие на своем веку не меньше книг, чем прочел их Вячеслав Иванов. У него была не эрудиция, а чудесный, действительно редчайший дар проникновения в эпохи, его уму и сердцу близкие, — особенно в мир античный. Притом, по складу своему он вовсе эллином не был, в том смысле, в каком греком можно бы признать, например, Пушкина, несмотря на всю связь Пушкина с Россией (замечательно, что Тэн¹, если верить Мельхиору де Вогюэ, — называл Тургенева «единственным греком в новейшей литературе»: не уловил он сквозь Тургенева черты пушкинские, которые тот по мере сил старался в себе сохранить и развить, и не к Пушкину ли по праву должны быть отнесены его слова?). Вячеслав Иванов был ученым филологом и историком, слушателем Моммзена, а затем и не менее, чем Моммзен, знаменитого Вилламовица², о котором любил вспоминать и рас-

сказывать. Он «из Германии туманной» вывез остатки ее бывшего, вольного и широкого научно-поэтического вдохновения, добавив к нему свое собственное острое чутье и создав свой причудливый мир, где прошлое казалась неразрывной частью настоящего и будущего. Любимейшим писателем его был Гёте. Он во многом с Гёте расходился, а под конец жизни разошелся с ним особенно резко, приняв католичество (впрочем, насколько можно судить, скорее по соображениям головным, рассудочным, нежели под непосредственным внушением веры). Черты вольтеровские в духовном облике Гёте были ему чужды и для него неприемлемы. Но в общем отношении к бытию и творчеству он старался к Гёте приблизиться, хотя это и был Гёте, пропущенный через многие новейшие призмы. По-гётевски звучало в устах Вячеслава Иванова слово «культура», и все то немецкое, что в нем неизменно чувствовалось, окрашено было в веймарские тона. Когда-то, незадолго до революции, на многочисленном собрании в редакции «Аполлона» он сказал:

— Самый необыкновенный, самый гениальный в мире роман — не «Война и мир», не «Братья Карамазовы», и уж, конечно, не какое-либо произведение Бальзака или Диккенса... Самый необыкновенный, гениальнейший в мире роман — «Избирательное сродство душ»³.

В те годы я этого гётевского романа не знал. Помню, что пораженный словами Вячеслава Иванова, а в особенности тем тоном, каким они были сказаны, я на следующий же день достал «Избирательное сродство душ» и принялся его читать. Прочел я его с тех пор несколько раз, ища того, что, по-видимому, нашел в нем Вячеслав Иванов. Книга эта, несомненно, замечательная, с не сразу открывающимся налетом таинственности. Не могу, однако, понять, а еще менее — разделить, волнения, с которым Вячеслав Иванов о ней говорил. Само собой напрашивается каламбур: по-видимому, для «Сродства душ» нужно сродство душ. Иначе отклик на него ограничен — и в длительности, и в силе.

Был ли он когда-либо молод? Вопрос как будто вздорный, но для знавших Вячеслава Иванова понятный. Он никогда не казался молодым, вероятно, именно потому, «учености плоды» отягчали его и внушали окружающим его иллюзию, будто перед ними человек, бесконечно многое видевший, узнавший и переживший. В Россию он приехал из-за границы лет пятьдесят тому назад и почти сразу занял в поэтических кругах по-

ложение верховного авторитета, вождя и судьи, пожалуй, даже верховного жреца. В те годы ведь о жречестве много толковали, как толковали о «заветах», о «посвящении», о «прорицании», и Вячеслав Иванов принялся подводить под эти шаткие догадки фундамент, представлявшийся незыблемым. Кое-что довольно быстро и бесславно рухнуло: например, пресловутый «мистический анархизм», который он вместе с Георгием Чулковым выдумал и проповедывал (и на который, помнится, Сергей Городецкий откликнулся в «Факелах» знаменитым, кое-кого озадачившим, а людей более трезвых рассмешившим восклицанием: «Истинный поэт не может не быть анархистом, — потому что как же иначе?») 4. Другое отошло в прошлое, но как знать, — умерло ли навсегда? История движется скачками, по кривым линиям, нередко «ходом коня», и случается в ней возрождаться тому, что, казалось, было окончательно погребено.

В стороне остался Александр Блок. Он не смешивал, конечно, Вячеслава Иванова с болтунами и шарлатанами, на безднах и прорицаниях делавших бойкую литературную карьеру. Он прожил несколько лет в глубочайшем преклонении перед ним, одним из свидетельств чего служит стихотворение о «царском поезде», прошедшем перед поэтом⁵. Блок, человек очень скромный, не обладавший никакой особой ученостью и всегда готовый учиться, одно время признавал своим оракулом Мережковского. Но мудрость Мережковского была слишком прямолинейна в сравнении с хитросплетениями Вячеслава Иванова, и поэты один за другим переходили на «башню», где, казалось, должны им раскрыться сокровеннейшие мировые тайны. Перешел и Блок. Однако у Блока была живая, больная совесть, и он безмолвно обращался к Иванову с вопросами, на которые у того не могло найтись ответа. Блок не то, чтоб усомнился в важности и значительности вячеславо-ивановских уроков, нет, — но он недоумевал: что за ними? Какой ценой они куплены? Что делать с людьми, которым они недоступны? Позволительно ли говорить о Дионисе и Эллинских мистериях, когда реальная повседневная жизнь соткана из страданий и несправедливости? Недоумение старое, как мир, истинно «проклятое», навеки веков неразрешимое. Думаю, что когда к восьмидесятилетию Льва Толстого Блок писал свою статью о «Солнце над Россией», он был ближе к яснополянским сомнениям, нежели к атмосфере, царившей на «башне». Блок почти ни в чем Вячеслава Иванова не упрекал (а если иногда

и решался на это, то крайне осторожно и почтительно). Но в нем жив был «кающийся дворянин», едва ли не последний в русской литературе, и раз начав думать о цене, в которую обходятся утонченнейшие и безмятежные вячеславо-ивановские умственные витания, он должен был от них отойти. Духовный его разлад остался Вячеславу Иванову чужд и, пожалуй, даже мало понятен.

Не этого ли, — то есть разлада, трагического сознаний безысходности жизни, порыва, мучения, горечи, — не всегда ли этого недостает главным образом поэзии самого Иванова и не из-за этого ли не стала она поэзией великой? Упрек в книжности, автору «*Cor ardens*» и «Нежной тайны» не раз делавшийся, лишь наполовину убедителен. Бывали «книжные» поэты, которым это их свойство не помешало навсегда вписать свои имена в историю литературы. Беда не в этом. Стихи Вячеслава Иванова льются широким, величавым, великолепным, сладковатым потоком, без того, чтобы хоть что-нибудь в них когда-либо дрогнуло и задело. «Густой мед», сказал Гершензон, этим медом, по собственному своему признанию, «упивавшийся»⁶. Слишком много меду, хотелось бы каплю горечи! Стихи эти обволакивают, окутывают будто ватой, усыпляют, порой, может быть, возвышают душу, обращают ее к высоким и важным думам, но в них обойдено и забыто все непосредственно-человеческое... Порой, читая сборники Вячеслава Иванова, удивляешься: как мог писатель, насквозь все видевший в поэзии чужой, остаться насчет поэзии своей собственной в таком роковом заблуждении? Но это случается не редко: бывает, что и проницательнейший врач, поставивший на своем веку тысячи безошибочных диагнозов, в отношении самого себя и своего недуга ошибается, как деревенский фельдшер.

А в чужих стихах Вячеслав Иванов действительно все видел насквозь. Мне вспоминается случай, о котором рассказывал Гумилев.

Молодая поэтесса Е. Юр. Кузьмина-Караваева (впоследствии мать Мария, погибшая в немецком концентрационном лагере) собиралась выпустить первый свой сборник стихов «Глиняные черепки». Гумилев, с ней друживший, пришел в типографию и застал Кузьмину-Караваеву за корректурой. Вместе с ней он принялся просматривать листки со стихами, и над одним из них поморщившись, сказал:

— Эти две последние строчки мне не нравятся. По-моему, лучше было бы их укоротить: не пятистопный ямб, как во всем стихотворении, а скорей трехстопный...

Подумав, он добавил:

— Например, так...

И предложил иной, свой вариант. Кузьмина-Караваева с его замечанием согласилась и тут же заменила свои две строки строками Гумилева. «Смотрите, только не выдайте меня!» — сказала она, смеясь.

Недели через две было очередное собрание у Вячеслава Иванова. Хозяин, с «Глиняными черепками» в руке, делал их публичный разбор. Дойдя до стихотворения, исправленного Гумилевым, он остановился:

— Тут что-то не то! Эти две строчки выпадают из сборника: не ваша манера, не ваш тон!

И Гумилев, и Кузьмина-Караваева ручались за то, что исправление осталось их тайной. Оба были изумлены, да и было чем!

Лучшее, самое значительное в наследии Вячеслава Иванова, то, что уцелеть и остаться должно бы надолго — именно его статьи, в частности статьи о поэзии (как, например, статья о «Манере, лице и стиле», помещенная в сборнике «Борозды и межи»: едва ли не самое значительное, что о поэзии на русском языке в наш век написано). Останутся, вероятно, исследования о древнегреческой культуре, — когда, как шелуха, спадут с них слишком произвольные украшения и догадки (уже Ф. Ф. Зелинский, друг Вячеслава Иванова, в ответ на наши вопросы в университетской аудитории насчет некоторых мыслей, встречающихся в «Эллинской религии страдающего бога», с напускной беспомощностью разводил руками и говорил:

— Не знаю... уверяю вас, что я этого не знаю! У Вячеслава Иванова, очевидно, свои источники!

А Зелинский и сам был склонен к фантазиям и догадкам, нас по молодости лет прельщавшим, и побуждавшим смотреть на его беспощадного ко всякому фантазированию коллегу Ростовцева, как на сухаря и педанта).

Да и по «Переписке из двух углов», — где все же один из корреспондентов, Гершензон, не совсем на уровне другого, — потомки, вероятно, почувствуют, на чем держалось обаяние и влияние этого одареннейшего человека. А если им почувствовать это будет трудно, хотелось бы, чтобы они поверили на слово современникам Вячеслава Иванова, что от встреч с ним, даже поздних и мимолетных, остался в памяти след неизгладимый. «J'en suis ébloui pour le reste de ma vie» (я ослеп до конца своей жизни), —

сказал Стендаль, поговорив минут двадцать с Байроном в фойе миланского театра «Скала». Никого ни с кем не сравнивая, с соблюдением пропорций, многие у нас могли бы сказать о Вячеславе Иванове то же самое.

Льва Шестова многое связывало с Вячеславом Ивановым, хотя, пожалуй, и не было в нашей новой литературе писателей менее схожих. Иванов всегда отзывался о Шестове с уважением, к которому примешивалась не то грусть, не то недоумение: казалось, он не понимал, чего, собственно говоря, Шестов хочет, почему бьется головой о стену, какие хотел бы получить ответы на свои явно безответные вопросы. Шестов утверждал, что высоко ценит поэзию Иванова, — хотя в разговоре и выяснилось, что почти ни одного его стихотворения он вспомнить не в силах. Из новых поэтов Шестов действительно любил и признавал, кажется, только Федора Сологуба. У Вячеслава Иванова пленяла Шестова его огромная ученость, не мешавшая, однако, — как это порой случается, — полету мысли. Не по душе ему было, по-видимому, только то, что у Вячеслава Иванова этот полет мысли привел к наличию «мировоззрения», великолепно-торжественного и стройного: Иванов как будто знал, что такое бытие, что такое культура, какой смысл в творчестве, у Иванова концы сходились с концами, а для Шестова основной и даже единственной истиной было то, что никаких концов вообще нет, если же они существовали бы, то разбросаны оказались бы по таким временным и пространственным безднам, в которых разуму нашему решительно нечего делать. <...>

<...>

1949

